ИСТОРИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ И ЛИТЕРАТУРЫ

Орлова Екатерина Иосифовна, доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой истории русской литературы и журналистики факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова; e-mail: ekatorlova@yandex.ru

ОТ ДИАЛОГА ДО ИНВЕКТИВЫ?

До сих пор в гуманитарных науках не существует единого определения диалога. Тем важнее уяснить истоки этого понятия. Оно оказывается тесно связано с представлением о познании и самопознании, их возможностях и пределах. В статье сопоставляются представления об этих категориях у А.А. Потебни и М.М. Бахтина, показываются трудности диалога, анализируется роман И.С. Тургенева «Отцы и дети», русская журналистика.

Ключевые слова: *А.А. Потебня, М.М. Бахтин, И.С. Тургенев, диалог, понимание, дискуссия, полемика, инвектива.*

Ekaterina I. Orlova, Doctor of Philology, Head of the Chair of History of Russian Literature and Journalism, Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State University; e-mail: ekatorlova@yandex.ru

FROM DIALOGUE TO INVECTIVE?

So far humanities have failed to provide a uniform definition of dialogue. Hence, it is all the more important to understand the sources of this notion. It appears to be closely associated with the idea of cognition and self-cognition, their potentialities and limits. The paper examines the respective views developed on these concepts by A. Potebnia and M. Bakhtin, analyses I. Tourgenev's novel "Otsy i deti", Russian journalism.

Key words: *A. Potebnia, M. Bakhtin, I. Tourgenev, understanding, dialogue, cognition, discussion, polemics, invective.*

Во второй половине XX в. понятие диалога становится востребованным не только в филологических, но и в других гуманитарных, в том числе общественных науках. Но как ни удивительно, единого определения диалога до сих пор не существует. Сравним взятые почти наугад словарные статьи, выделив курсивом не повторяющиеся части определений:

«Диалог <...> (перен.) *свободный* обмен мнениями, напр., полит. Д.»[1].

«Диалог – *разговор* между двумя или несколькими лицами»[2].

«Диалог *словесное состязание*, обсуждение чего-либо двумя или несколькими лицами, *в котором каждый отстаивает свое мнение*»[3].

«Диалог (Перен.) Дипломатические переговоры между правительствами <...> *в целях достижения соглашения, мирного урегулирования* отношений между ними и т.п. <...> // Деловые контакты между какими-л. общественными, профессиональными и т.п. группами людей»[4].

Как видим, авторы словарных статей подчеркивают ту или другую сторону диалога как процесса либо его результата. Может быть, история бытования этого понятия поможет лучше прояснить его сущность?

Особенно актуальной в XX в. становится концепция диалога, разработанная М.М. Бахтиным. Но было ли в истории отечественной филологии что-либо, подготавливавшее круг его идей? Нам представляется, что в учении А.А. Потебни можно увидеть предвосхищение некоторых бахтинских положений. В конце XIX в. он «достроил» цепочку «автор – произведение», добавив в нее третье необходимое звено – читателя. В начале XX в. его идеи становятся достоянием научного сообщества. Следующим шагом в развитии филологической мысли (в той ее части, что касается интересующей нас сейчас темы) стала книга М.М. Бахтина «Проблемы творчества Достоевского» (1929). Концепция диалога, в частности новое понимание литературного произведения как диалога автора с читателем, диалогические отношения между автором и героями, типология прозаического слова – все это обещало новый поворот в развитии филологической мысли. И хотя Бахтин в книге о Достоевском на Потебню не опирался, нам сейчас видится связь между идеями этих ученых. В то же время в своем понимании диалога Бахтин выходил за рамки филологии в область эстетики, шире – философии, а конкретно – к проблеме познания и самопознания. Как впрочем и Потебня.

В XIX в. А.А. Потебня, открывая внешнюю и внутреннюю форму слова, говорил о том, что, подобно слову, «те же стихии и в произведении искусства <...>. Одно и то же художественное произведение, один и тот же образ различно действует на разных людей и на одно и то же лицо в разное время, точно так, как одно и то же слово каждым понимается иначе <...> Слово одинаково принадлежит говорящему и слушающему, а потому значение его состоит не

в том, что оно имеет определенный смысл для говорящего, а в том, что оно способно иметь смысл вообще <...>

Искусство то же творчество в том самом смысле, в каком и слово <...> и как посредством слова нельзя передать другому своей мысли, а можно только пробудить в нем его собственную, так нельзя ее сообщить и в произведении искусства; поэтому содержание этого последнего (когда оно окончено) развивается уже не в художнике, а в понимающих» (Потебня, 1976: 175–181).

Эта мысль открывала филологии новые возможности. Начиная с 1900-х гг. идеи Потебни, как уже говорилось, постепенно (но очень постепенно) входят в сознание филологов нового века. Работа Потебни «Мысль и язык» публиковалась в 1862 г., причем дважды: в журнале и отдельным оттиском, потом в 1892 и 1913 гг., но в начале 1910-х гг., по крайней мере в Петербурге, его труды еще были известны лишь немногим. Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть знание Бахтиным в 1920-е годы работ «Мысль и язык» и «Из записок по теории словесности». Но, как предполагают комментаторы к собранию сочинений Бахтина, в более поздние годы он скорее всего был знаком с трудом Потебни «Из записок по русской грамматике»: три выпуска, подготовленные самим ученым, выходили в 1874, 1888 и 1889 гг., а четвертая часть, незавершенная («Глагол, местоимение, числительное, предлог»), – в 1941 г. Вот ее, предположительно, и мог читать Бахтин. Знал он и работы Потебни по фольклористике, что видно из его книги о Рабле. Как бы то ни было, в интервью для редакции «Нового мира» в 1970 г. Бахтин, говоря о «высоких научных традициях» отечественной филологии, называл А.А. Потебню и А.Н. Веселовского (из ученых советского времени это для Бахтина прежде всего Ю.Н. Тынянов, Б.В. Томашевский, Б.М. Эйхенбаум, Г.А. Гуковский (Бахтин, 2002: 451); известно, что из младших современников он очень высоко ценил Д.С. Лихачева и Ю.М. Лотмана.

Однако трудно себе представить время, наименее благоприятное для выхода книги о Достоевском. Выдвинутая Сталиным ложная идея усиления классовой борьбы в обществе победившего социализма провоцировала отнюдь не диалог. Напротив, если на протяжении 20-х гг. еще возможны были публичная полемика, дискуссия, словом – диалог (да и то в формах, зачастую далеких от научной и этической корректности), то к концу десятилетия литературные и эстетические споры на страницах литературной и на-

учной периодики смолкают. Они возродятся в начале 1930-х гг., но то будут в научном отношении лишь спекуляции, а в практическом – уничтожение неугодных (так называемая «дискуссия о формальном методе», на деле же – разгром морфологической школы; «дискуссия» о методе В.Ф. Переверзева, повлекшая за собой арест ученого, и т.д.). Не за горами в 1929 г. было и создание Союза советских писателей – своего рода подобие коллективизации в литературе. В этих условиях книга М.М. Бахтина о диалоге не была принята. В 1929 г. в периодике вышло 6 откликов на нее, в большинстве сугубо отрицательных. Показательной представляется развернутая рецензия, автором которой был А.В. Луначарский: она отличалась двойственностью оценки, что объясняется как общественно-политической ситуацией, так и положением самого экс-наркома, постепенно сдававшего свои позиции под натиском литературно-партийной номенклатуры. Впрочем, сам М.М. Бахтин, арестованный за полгода до выхода своей книги о Достоевском, а в момент ее издания ждавший суда (Бахтин, 2000: 428), позднее считал, что «статья Луначарского помогла ему при решении его личной участи (пересмотр приговора)», – пишет С.Г. Бочаров. – «Но определить направление обсуждения книги она не могла. Определял его Гроссман-Рощин[5]. <...> заголовок совсем уже последнего выступления в критической кампании дает окончательную приговорную формулу <...> “Многоголосый идеализм”. Одновременно с этой статьей М.М.Б. отбывает в ссылку, и советская критика больше не занимается его книгой» (Бахтин, 2000: 479). Невозможно установить, была ли прямая связь между приговором суда и вердиктом бахтинских «критиков», но есть зловещая символика в том, как перекликаются то и другое.

Итак, отсутствие общественного и научного диалога в конце 1920-х и в последующие годы затормозило развитие филологической мысли на несколько десятилетий. Концепция диалога, как и другие идеи Бахтина, была воспринята мировым литературоведением лишь начиная со второй половины XX в., когда выходит второе издание его книги («Проблемы поэтики Достоевского», 1963).

Но почему книга о Достоевском оказала столь мощное воздействие на филологию второй половины XX в.? Вероятно, потому, что сказанное на материале Достоевского выражало и нечто даже более существенное – некие общие свойства человеческой натуры, для которой, по Бахтину, склонность к диалогу является одним из онтологических качеств, присущих человеку вообще. Но

возможно, что по этой же самой причине – особенно в России – выход книги Бахтина в 1963 и во все последующие годы вызывал и до сих пор вызывает жесткое, зачастую полемически и заостренно выраженное несогласие, несмотря на признание идей ученого мировым филологическим сообществом. Вероятно, это происходит потому, что существует и другой тип личности – если так можно выразиться, монологический тип. Сама страстность, как бы личная заинтересованность оппонентов Бахтина говорят об этом.

Какие же это были существенные суждения? Стоит их напомнить.

«Только в общении, в*о взаимодействии человека с человеком раскрывается и "человек в человеке", как для других, так и для себя самого*. <...> (здесь и далее курсив автора. – *Е.О.*).

Быть – значит общаться диалогически. Когда диалог кончается, все кончается. Поэтому диалог, в сущности, не может и не должен кончиться. <...>

Все в романах Достоевского сходится к диалогу, к диалогическому противостоянию как к своему центру. Все – средство, диалог – цель. Один голос ничего не кончает и ничего не разрешает. Два голоса – минимум жизни, минимум бытия» (Бахтин, 2002: 280).

И в более поздние годы Бахтин возвращается к понятию диалога, его идеи «диалога-согласия», диалога – встречи «равноправных сознаний» находим в записках о методологии гуманитарных наук и т.д.

Как и позднее Бахтин, Потебня считал самопознание невозможным без познания другого. Но он же ставил и пределы познанию вообще. Во-первых, он считал, что познаем мы не настоящее (оно неуловимо и изменчиво), а лишь прошедшее. «Непосредственное самопознание невозможно» (Потебня, 1976: 306), – писал он. А кроме того, тождества между говорящим и слушающим нет по самому определению. «Думать при слове именно то, что думает другой, значило бы перестать быть самим собою. Поэтому понимание в смысле тождества мысли в говорящем и слушающем есть такая же иллюзия, как и та, в силу коей мы принимаем собственные ощущения за внешние предметы. Тем не менее наше слово действует на других. Оно устанавливает между замкнутыми в себе личностями связь, не уравнивая их содержания, а, так сказать, "настраивая их гармонически"» (Там же: 307) – тут Потебня цитирует В. Гумбольдта.

К этой мысли мы еще вернемся: кажется, именно она продуктивно отозвалась в концепции Бахтина. Но тут надо сказать, что Потебня отнюдь не был благодушным в проблеме познания вообще (а он, как позднее и Бахтин, ставит именно эту проблему). «Мир является нам лишь как ход изменений, происходящих в нас самих» (Там же: 305), – говорит он. Кроме того, по Потебне, познание невозможно в пределах самого себя: «Задача, исполняемая нами, состоит в непрерывном разграничении того, что мы называем своим *я,* и всего прочего *не-я,* мира в более тесном смысле. Познание своего *я* есть другая сторона познания мира, и наоборот» (Там же).

Но Потебня считал, что познать мы способны только прошедшее, а настоящее неуловимо и изменчиво в каждый данный момент: «познаваемое в мгновение познания уже ушло, уже неуловимо». Этот процесс Потебня сравнивал с тем, как мы изучаем свет, дошедший к нам от далекой звезды, не зная, существует ли эта звезда в данный миг или уже погасла. Комментаторы к изданию Потебни 1976 г. предполагают, что сам ученый перевел для своей работы такие стихи Гете:

«”Познай себя” – Просил бы разъяснений!
– Извольте: надо быть и вместе с тем – не быть!
– Да, этот афоризм создал, бесспорно, гений:
Так коротко, а может с толку сбить!
”Познай себя” – Какая польза в том?
Познаю, а куда бежать потом?
Словно бы, придя на карнавал,
Сразу маску я с себя сорвал». (Там же)

Похоже, Потебня представлял себе, что всякое познание имеет пределы. Но у нас есть инструмент самопознания – это слово. Оно «*объективирует мысль*, ставит ее перед нами, служит тем *делом*, без которого невозможно самопознание...» (Там же: 306). Говоря же о пределах, он задумывался, как уже было показано ранее, о невозможности тождества между слушающим и говорящим – мы же можем продолжить этот ряд и сказать: между беседующими, между автором и читателем.

Итак, познание и самопознание, по Потебне, неразрывно связаны, одно невозможно без другого. Вероятно, не случайно Гете избрал для размышлений о познании и самопознании форму диалога, вообще говоря, не слишком распространенную в лирике XIX в. И у Бахтина диалог является необходимым условием пони-

мания. В работе «К методологии гуманитарных наук» он расчленяет процесс понимания на четыре стадии: «1) Психофизиологическое восприятие физического знака (слова, цвета, пространственной формы). 2) Узнание его (как знакомого или незнакомого). Понимание его повторимого (общего) значения в языке. 3) Понимание его значения в данном контексте (ближайшем и более далеком). 4) *Активно-диалогическое понимание (спор-согласие).* Включение в диалогический контекст» (Бахтин, 1979: 98) (курсив мой. – *Е.О.*).

Но говоря о понимании, Бахтин, можно подумать, расширяет это понятие, как и категорию диалога, делая его почти универсальным и поднимая его до понятия *познания.* В набросках «К философским основам гуманитарных наук» читаем:

«Сложность двустороннего акта познания-проникновения. Активность познающего и активность открывающегося (диалогичность). Умение познать и умение выразить себя. Мы имеем здесь дело с выражением и *познанием (пониманием)* выражения (курсив мой – *Е.О.*). Сложная диалектика внешнего и внутреннего. Личность имеет не только среду и окружение, но и собственный кругозор» (Бахтин, 1997: 7).

Итак, мы видим, что по крайней мере здесь для Бахтина познание и понимание – понятия почти синонимические.

И, наконец, он напрямую соотносит свои размышления с идеями Потебни в записях к работе «Проблема речевых жанров»:

«Проблема *понимания* у Потебни и потебнианцев. Понимание не повторяет, не дублирует говорящего, оно создает свое представление, свое содержание <...> слово дает только направление, острие конуса. Между тем говорящий и понимающий вовсе не остаются каждый в своем собственном мире; напротив, они сходятся в новом, третьем мире, мире общения, они обращаются друг к другу, вступают в активные диалогические отношения» (Там же: 209).

Проходит еще несколько десятилетий – и в 1969 г. С.С. Аверинцев пишет статью о филологии, которая сначала будет опубликована в журнале «Юность» (Аверинцев, 1969: 98–102), а потом войдет в Краткую литературную энциклопедию, т.е. станет общепризнанной и «обязательной». В этой статье Аверинцев называет филологию *наукой о понимании.* В 1979 г. готовилась к изданию книга Бахтина «Эстетика словесного творчества» (куда вошли заметки ученого о философских основах гуманитарных наук – ча-

стично, в комментариях, – и о методологии литературоведения). Авторами комментариев были С.С. Аверинцев и С.Г. Бочаров.

Читал ли Аверинцев эти заметки Бахтина, когда, будучи молодым ученым, в 1960-е гг. писал свою статью о филологии? Ответа на этот вопрос у меня нет, но, может быть, и не стоит его ставить. Даже если и не читал (Бахтин был еще жив, а речи об издании сколько-нибудь полного собрания его сочинений не шло), – вряд ли такое совпадение случайно. Скорее всего, оно означает, что определение филологии, данное Аверинцевым, истинно, раз к сходным идеям приходят в разное время три крупных мыслителя.

***

Итак, Потебня писал, что слово может служить тому, чтобы устанавливать связь между людьми, «настраивая их гармонически».

Но в том-то и дело, что гармонический диалог то и дело оказывается на русской почве невозможным. Так, современная польская исследовательница Б. Оляшек, анализируя романы Тургенева, показывает, как не только в «Отцах и детях», но также и в «Дыме», и в «Нови» между героями – участниками диалога не только не устанавливается «диалога-согласия», но даже не видится и малой гармонии. Она пишет: «Спорщики не имеют желания прийти к соглашению, что можно объяснить характерной чертой русской ментальности, максимализмом русского сознания» (Оляшек, 2010: 35) Тут только невозможно согласиться с тем, что Б. Оляшек распространяет нетерпимость, свойственную героям Тургенева, и на самого автора. По ее мнению, «восприятие *спора* как ”схватки” свойственно не только его прямым участникам, но и повествователю: “схватка произошла в тот же день за вечерним чаем”. Оппонент в споре называется им “врагом”» (Там же: 31). Ясно, однако, что повествователь подхватывает словечки Павла Петровича, но употребляет их явно как чужие для него самого. Это становится понятным из контекста как эпизода спора, так и всего романа в целом:

«– Ну, я так скоро не сдамся, – пробормотал его брат (Павел Петрович. – *Е.О.*). – У нас еще будет схватка с этим лекарем, я это предчувствую.

Схватка произошла в тот же день за вечерним чаем. Павел Петрович сошел в гостиную уже готовый к бою, раздраженный и решительный. Он ждал только предлога, чтобы наброситься на врага; но предлог долго не представлялся»[6].

Нельзя не заметить, что «схватка», «враг» – явно чужие слова в речи повествователя, видящего Павла Петровича так, как он сам себя видеть не может («раздраженный и решительный»). Вообще в случае именно с Павлом Петровичем мы чаще всего убеждаемся в том, что повествователь наиболее удален от него, в данном примере – отделен от героя «ироническими кавычками» (если следовать терминологии Бахтина). В романе есть и случай прямой авторской оценки, фиксирующей проигрыш Павла Петровича в эпизоде с дуэлью и вообще во всей истории его столкновения с Базаровым. Вспомним последние фразы этой главы: «Освещенная ярким дневным светом, его красивая, исхудалая голова лежала на белой подушке, как голова мертвеца. Да он и был мертвец» (154). А с другой стороны, только автор способен видеть, как «целая погибшая жизнь в нем трепетала» (152). Невозможно забыть и рассказ о старшем Кирсанове в последней главе романа, являющейся по сути эпилогом. Это, конечно, не сам Павел Петрович, а стоящий за повествователем автор сначала иронизирует относительно популярности Кирсанова у иностранцев и у русских туристов, которые «очень за ним волочатся» (187); это тот же автор строит фразу как кальку не то с английского, не то с немецкого, приводя почти сатирическую и слишком хорошо теперь известную деталь («Он ничего русского не читает, но *на письменном столе у него находится серебряная пепельница* в виде мужицкого лаптя» (186–187, курсив мой. – *Е.О.*).Но именно тот же автор видит Павла Петровича стоящим в церкви «горько стиснув губы», автор понимает, что «жить ему тяжело... тяжелей, чем он сам подозревает...» (187).

Мимо современников Тургенева, увлеченных злободневностью романа, прошла вся тонкость и сложность авторской позиции; не заметили они за сюжетным пессимизмом (смерть Базарова) и пушкинского контекста в заключающем роман кладбищенском пейзаже с его идеей «жизни бесконечной», – не заметили несмотря на то, что споры о романе велись с первой его журнальной публикации в 1862 г. и вплоть до конца десятилетия, а то и дольше: статья самого Тургенева «По поводу “Отцов и детей”» была написана в 1869 г.

Но тем бóльшим контрастом на фоне автора-повествователя и теперь предстают герои Тургенева: по отношению не только друг к другу, но и к автору.

Уместно будет вспомнить, что еще до начала дуэли между героями-антагонистами происходит словесный поединок. Павел Пет-

рович произносит французскую фразу – Базаров осознанно прибегает к латыни, чтобы тут же прибавить: «Так-то: вы мне по-французски, а я вам по-латыни». Заметим, что ни во французском выражении, ни в латинском у дуэлянтов, вообще говоря, нет никакой нужды. Слова, произнесенные Павлом Петровичем по-французски, такие: «Имеющий уши да слышит». Базаровская латынь: «соединить *приятное с полезным*» (курсив мой. – *Е.О.*). Не были ли эти слова обоих героев специально *рассчитаны на непонимание* со стороны другого? Так в метафорическом смысле оказывается, что русские герои, люди более или менее одного круга, предстают как воспитанники различных культур. Они и почти в буквальном смысле слова говорят на разных языках, не стремясь обрести общего. Уже давно было замечено, что «с надменною гордостию» произнесенные Базаровым слова о том, что его «дед землю пахал», неточны или, во всяком случае, их нельзя понимать буквально: он «внук дьячка» (76) – вероятно, по отцовской линии; а его мать дворянка. Но для Павла Петровича в его неприязни Базаров – «лекаришка», «волосатый», уже при первой встрече Кирсанов не подает ему руки.

Не лежит ли здесь, во всей этой истории, в самом деле что-то очень существенное для русской ситуации или – что, может быть, вернее – для русского менталитета, даже если отвлечься от того, что российские общественные и политические условия никогда не способствовали открытому и свободному диалогу? Но вот ведь в романе Тургенева герои, кажется, вполне вольны в проявлении своих убеждений – по крайней мере в Марьине им ничто не мешает высказываться с полной откровенностью, что они и делают... Лучшие из дворян (по слову самого писателя) и лучшие из новых людей не хотят ни слышать, ни понимать друг друга. Читатели же, во всяком случае современники Тургенева, не хотят ни слышать, ни замечать автора...

Создается впечатление, что дискуссия, полемика, диалог в России вообще часто оказываются затруднены. Совсем другой пример – из литературной жизни начала XX в. М. Кузмин в статье «Художественная проза “Весов”» замечает: «...излишек горячности, оставшийся от борьбы с врагами внешними, направлялся на врагов внутренних, и тот же А. Белый или Эллис, уподобляясь гуманистам, писали инвективы, причем выражения “сволочь”, “идиот”, “пьяница”, “блудник”, “педераст”, “онанист”, “свинья”, “щенок”, “старая баба” и т.д. обильно украшали страницы разгневанных “стражей порога”»[7].

Не лучше обстояло дело и с политическими дискуссиями – впрочем, не только в России. Г.Я. Солганик ссылается на исследование литовского лингвиста В.И. Жельвиса, который анализирует речь политических деятелей – классиков марксизма. Их лексика мало чем отличается от полемических эскапад российских литераторов, разве что в сторону еще большей грубости. «В.И. Жельвис приводит примеры только бранных зооморфизмов из творчества Маркса и Энгельса: *жаба, чванливая обезьяна, скотина, упрямая лошадь, подлая эмигрантская свинья, собака (лавры кровавой собаки), осел (фантастический, старый, последний, вой лондонских ослов, банда ослов, валаамова ослица), куколка навозного жука* и даже *вошь с головой, вздутой от водянки*. Враги не *говорят,* а *бессильно тявкают*» (Цит. по: Солганик, 2012: 19)

И даже если учесть различие между дискуссией («стремление к выяснению истины») и полемикой («не столько достижение согласия, сколько стремление одержать победу» (там же); даже если принять во внимание особенности жанра инвективы (как это делает В.И. Жельвис); даже если вспомнить, что, например, Маяковский, как пишет Бахтин в «Записях лекций по истории русской литературы», связан с античной риторикой, а «у Цицерона и Тита Ливия риторика носит порнографический характер» (Бахтин, 2000: 370), – несмотря на все это, приходится признать, что «русский диалог», чего бы он ни касался, слишком часто стремится как к пределу не к «диалогу-согласию» и не к дискуссии, а скорее, пожалуй, к полемике и даже к инвективе.

Во всяком случае, обращаясь совсем к другому материалу – полемике В.Г. Белинского и С.П. Шевырева, – Е.И. Прохорова, цитируя ту же Б. Оляшек, говорит о том, что в наше время «все чаще поднимается вопрос о неразвитости в России культуры идейной толерантности и даже “нереализуемости позитивной программы диалога согласия”, и не только в публичной сфере, а как о важной черте русской ментальности в целом» (Прохорова, 2012: 83).

А исследуя философскую публицистику в России начала XX в., А.Л. Семенова называет «роковой чертой русского образованного общества» – «утопизм социального мышления, который на фоне радикализма русской мысли и под влиянием антропогонического мифа с его установкой на кардинальное обновление, привел к утопии радикального обновления, реализовавшейся в тех социально-исторических катаклизмах, которые пережила Россия в XX веке» (Семенова, 2010: 242).

Итак, утопизм социального мышления плюс радикализм, помноженные на антропогонический миф – идею построения «нового общества» в противовес старому, создания «нового человека», полностью противоположного «прежнему», – составили основу мышления российского общества, причем лучшей, во всяком случае наиболее активной, мыслящей его части. Отражения этих черт мы видим и в литературе, и в политической и даже в литературной журналистике, и в публицистике.

Так что же все-таки определило трудности диалога в России, «диалога по-русски»: самодержавие и его парадоксальное порождение – советский авторитарный режим, с последующим его крахом, пароксизмами демократии и отмеренными порциями общественных свобод? Или все это еще легло на коренные черты русского менталитета, а точнее, оказалось подготовлено именно ими? И как тогда быть со знаменитой, по Достоевскому, русской «всемирной отзывчивостью»?

Да, но ведь Достоевский называет это свойство уникальным и связывает его только с гением Пушкина. Напомним контекст, в котором появилось это манящее выражение: «Нет, положительно скажу, не было поэта с такою всемирною отзывчивостью, как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут дело, а в изумляющей глубине ее, а в перевоплощении своего духа в дух чужих народов <...>. Это только у Пушкина, и в этом смысле, повторяю, он явление невиданное и неслыханное...» Это сказано в связи с наблюдениями Достоевского над творчеством Пушкина.

Но Достоевский идет и дальше: Пушкин, говорит он, потому и стал истинно народным поэтом, что он воплотил в себе важнейшую русскую черту, поскольку «что такое сила духа русской народности как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности?»[8].

Итак, наша «всемирная отзывчивость» по-настоящему воплотилась только в уникальном явлении Пушкина, в его творчестве. Во всех других случаях можно думать о ней лишь в потенциале: Достоевский в 1880 г. говорит о «стремлении». Но, как мы видим, до «конечных целей», даже если они в самом деле таковы, как полагал Достоевский, нам еще очень далеко.

Примечания

[1] Новый энциклопедический словарь. М., 2000. С.337.
[2] Словарь иностранных слов. М., 1981. С. 165.
[3] Большой толковый словарь русского языка. СПб, 2003. С. 1251.
[4] Большой академический словарь русского языка. Т. 5. М.; СПб, 2006. С. 81–82.
[5] Гроссман Иуда Соломонович (1883–1934), писавший также под псевдонимом Рощин, – активный деятель РАПП.
[6] *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем. В 30 т. Соч. В 12 т. Т. 7. М., 1981. С. 46–47. Дальше ссылки на это издание даются в тексте статьи с указанием страницы.
[7] *Кузмин М.* Проза и эстетика. В 3 т. Т. 3. М., 2000. С. 9.
[8] *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 26. Л., 1984. С. 146–147.

Библиография

Аверинцев С.С. Похвальное слово филологии // Юность. 1969. № 1.
Бахтин М.М. Собр. соч. в семи томах. Т. 2 М., 2000.
Бахтин М.М. Собр. соч. в семи томах. Т. 5. М., 1997.
Бахтин М.М. Собр. соч. в семи томах. Т. 6. М., 2002.
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
Жельвис В.И. Инвектива в политической речи // Русский язык в контексте культуры. Екатеринбург, 1999.
Оляшек Б. Сюжетная ситуация диалога/спора в романах Ивана Тургенева // Русская литература XVIII–XXI вв. Диалог идей и эстетических концепций. *Дискурс о современности*. Literatura rosyjska XVIII–XXI w. Dialog idei i poetyk. *Dyskurs o współczesnosci*. Łodż. 2010.
Потебня А.А. Эстетика и поэтика. М., 1976.
Прохорова И.Е. В.Г. Белинский vs С.П. Шевырев: реализация конфронтационной стратегии в журнальной полемике (1836 год) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10 Журналистика. 2012. № 2.
Семенова А.Л. Русская философская публицистика начала XX века: утопия радикального обновления. Великий Новгород, 2010.
Солганик Г.Я. Введение //Язык СМИ и политика. М., 2012.

Notes

Bol'shoy akademicheskiy slovar' russkogo yazyka (2006). [Large Academic Dictionary of Russian Language]. Moscow; St. Peterburg.
Bol'shoy tolkovyy slovar' russkogo yazyka (2003). [Great Dictionary of Russian Language]. St. Peterburg.
Dostoevskiy F.M. (1984.) *Poln. sobr. soch. V 30 t.* [Coll. Op. 30 vols]. Leningrad.
Kuzmin M. (2000). *Proza i estetika. V 3 t.* [Prose and Aesthetics. 3 vols]. Moscow.
Novyy entsiklopedicheskiy slovar' (2000). [New Collegiate Dictionary]. Moscow.

Slovar' inostrannykh slov (1981). [Dictionary of Foreign Words]. Moscow.

Turgenev I.S. (1981). *Poln. sobr. soch. i pisem. V 30 t.* [Coll. Op. 30 vols]. Moscow.

References

Averintsev S.S. (1969). Pokhval'noe slovo filologii [Eulogy of Philology] *Yunost'* 1.

Bakhtin M.M. (2000). *Sobr. soch. v semi tomakh. T. 2.* [Coll. Op. 7 vols. Vol. 2]. Moscow.

Bakhtin M.M. (1997). *Sobr. soch. v semi tomakh. T. 2.* [Coll. Op. 7 vols. Vol. 5]. Moscow.

Bakhtin M.M. (2002). *Sobr. soch. v semi tomakh. T. 2.* [Coll. Op. 7 vols. Vol. 6]. Moscow.

Bakhtin M.M. (1979). *Estetika slovesnogo tvorchestva* [Aesthetics of Verbal Creativity]. Moscow.

Olyashek B. (2010). Syuzhetnaya situatsiya dialoga/spora v romanakh Ivana Turgeneva [Subject Situation of Dialogue / Dispute in the Novels of Ivan Turgenev]. In *Literatura rosyjska XVIII – XXI w. Dialog idei i poetyk. Dyskurs o współczesnosci* [Russian Literature in XVIII - XXI Centuries. The Dialogue of Ideas and Aesthetic Concepts]. Łodż.

Potebnya A.A. (1976). *Estetika i poetika* [Aesthetics and Poetics]. Moscow.

Prokhorova I.E. (2012). V.G. Belinskiy vs S.P. Shevyrev: realizatsiya konfrontatsionnoy strategii v zhurnal'noy polemike (1836 god) [V.G. Belinsky vs S.P. Shevyrev: Implementation of a Confrontational Strategy in Journalistic Polemics (1836)] *Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 10 Zhurnalistika* 2.

Semenova A.L. (2010). *Russkaya filosofskaya publitsistika nachala XX veka: utopiya radikal'nogo obnovleniya* [Russian Philosophical Journalism of the Early Twentieth Century: A Utopia of Radical Renewal]. Velikiy Novgorod.

Solganik G.Ya. (2012). Vvedenie [Introduction]. In *Yazyk SMI i politika* [Media Language and Politics]. Moscow.

Zhel'vis V.I. (1999). Invektiva v politicheskoy rechi [Invectives in Political Speech]. In *Russkiy yazyk v kontekste kul'tury* [Russian language in the context of culture]. Ekaterinburg.

Поступила в редакцию
25.04.2016